

Вячеслав Лютов

Тень Агасфера

Заметки о жизни
В. А. Жуковского

Вячеслав Лютов

**Тень Агасфера. Заметки
о жизни В. А. Жуковского**

«Издательские решения»

Лютов В.

Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского / В. Лютов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-939031-8

Книга посвящена жизни и творчеству В. А. Жуковского и написана в форме классического биографического очерка, рассказывая о неизвестных страницах в судьбе русского поэта.

ISBN 978-5-44-939031-8

© Лютов В.
© Издательские решения

Содержание

ТЕНЬ АГАСФЕРА	6
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	7
1852, АПРЕЛЬ. НАКАНУНЕ. Разговор с о. Иоанном. «Агасфер». «Царскосельский лебедь»	8
ДОМАШНИЕ. романтика рождения. Детский рисунок. Смерть матери. Юшковы: Дуняша и Аня	12
ПРОТАСОВЫ. Екатерина Афанасьевна. Маша. Мойер. Трое	17
ПРОТАСОВЫ. Саша. Воейков. Психологический этюд. 1829 г.	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Тень Агасфера Заметки о жизни В. А. Жуковского

Вячеслав Лютов

© Вячеслав Лютов, 2018

ISBN 978-5-4493-9031-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ТЕНЬ АГАСФЕРА

Заметки о жизни В. А. Жуковского (1997)

*Спутников давнишних, прежней современных
Жизни, переживши, сетуя глубоко,
Ты их поминаешь думой одинокой!..
Жуковский. Царскосельский лебедь.*

*Милых спутников, которые «сей век присутствием для нас
животворили», он благодарно заметит больше всего – в момент их
отсутствия.*

Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Когда-то Ф.М. Достоевский в письме к Ап. Майкову одним из первых русских писателей признался в традиционной для литературы подмене: объясняя истоки своих героев, он упомянул Чаадаева, но совершенно особым и примечательным образом: «Ведь у меня не Чаадаев, я только в роман беру этот *тип*». Тип человека, род человека, «порода» (если по-лермонтовски) – это не стареет, это кочует из века в век. Это тщательно сокрыто за занавесью биографических фактов, внешних впечатлений и оценок; оно не может быть исследовано, а лишь набросано штрихами.

Я, возможно, и сам не заметил, как книга о Жуковском вдруг превратилась в книгу о человеке «типа Жуковского». Да и самой книги-то не предполагалось – просто заметки, записи в дневник, которые вдруг стали расти, растягиваться, иногда даже казались нескончаемыми, как мучения Агасфера, иногда чувствовалась натянутость и, может быть, даже несправедливость по отношению к Жуковскому – так что будет повод упрекнуть автора. В общем, писалось «по-розановски» – в сумерках, на задворках...

Снова спрячусь за авторитет Достоевского: «Человек есть тайна. Ее нужно разгадать». Вот и разгадываю – только вместо ответов, как это традиционно принято, возникают лишь новые вопросы, вместо утверждений – лишь предположения и догадки.

Знаете, это даже здорово – по меньшей мере, не находишься, не ощущаешь себя на положении судьи-палача, который ради исследовательской точки академично рубит живую голову. Утешением же для такого сложившегося порядка вещей будет прекрасная мысль Акутагавы: «Счастье классиков в том, что они мертвы...»

Жуковского ни русская философия, ни литературоведение особо не жаловали своим вниманием – слишком заслонен он, затенен гениями его эпохи – Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем. С другой стороны, в Жуковском как бы не было стержня, проблемы, биографического романтизма, наконец; его «необыкновенно-обыкновенная» жизнь зрителя не прельщала, а исследователя не возбуждала на поиск. «Небесной душой» называл Жуковского Пушкин; ангелов же, обычно, не разбирают...

Но дань уважения им все же приносят.

В наше безденежное и по сути бескнижное время я был счастлив тем, что в свою деревенскую тишину и глухомань мне удалось «заполучить» трех биографов – три книги о жизни Жуковского – Бориса Зайцева, Майи Бессараб и Виктора Афанасьева. С ними и жил весь этот год, выстраивая свои смутные заметки, для чего и пишу «первую и вместе с тем последнюю вещь в книге» – предисловие...

апрель, 1997 (145 лет со дня смерти В. А. Жуковского)

1852, АПРЕЛЬ. НАКАНУНЕ. Разговор с о. Иоанном. «Агасфер». «Царскосельский лебедь»

* * *

...В большом доме Жуковского в Бадене несколько окон плотно занавешены и комната тиха и сумрачна: «лекарство для глаз» – отсутствие света. Доктор Гугерт ему рекомендовал темные комнаты, пока не сойдет воспаление. Один глаз уже слеп, другой еще видит, еще держится – на честном слове. Выходить нельзя: резкий свет вызывает резкую боль. Так позднее произойдет с неприкаянным Фридрихом Ницше, чьи глаза убивал прекрасно-ослепительный белый снег.

Василий Андреевич готовился к тому, что однажды утром он не увидит самого утра, и даже придумал себе машинку для слепого письма – «я человек изобретательный» – картонку с прорезями для строк.

В этой комнате, в полусумраке, в начале марта 1852 года, камердинер Жуковского Василий читал поэту выписку из журнала «Московитянин» – о смерти Гоголя. «В чем заключались его страдания, никто не знает... уклонялся от пищи... был уже слаб и почти шатался... сжег... по ошибке... закричал: оставьте меня! не мучьте меня!»

Жуковскому сначала было страшно – и слушать, и думать об этом; но потом он впал словно в оцепенение: просидел несколько часов кряду без движения, во тьме, потом прилег на диван – и уже больше не вставал /1.392 – указан источник из списка и номер страницы/.

Его как будто нужно было «свалить», чтобы он наконец понял, почувствовал: вот – смерть, теперь уже за ним...

* * *

7 апреля приехал прот. Иоанн Базаров. Жуковский был очень плох, но причащаться пока отказывался: само таинство, казалось, становится тем предвестником смерти, после которого уже нет никакой надежды – вместо того, чтобы нести благодарное успокоение и светлое умиротворение. Поэтому откладывал, терпел (как всегда в своей жизни), придумывал всевозможные отговорки, оправдания:

– Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый. В голове не клеится ни одна мысль. Как же таким явиться перед Ним?

– А если бы сам Господь захотел прийти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома? /3.141/

Действительно, разве бы Жуковский отказал, отговорился, оттолкнул?

После причащения Василий Андреевич «успокоился внутренне». Надлежало прощаться.

И вдруг оказалось, что он совершенно не знает, как это делать. Он так часто провожал друзей и любимых с этого берега на тот, что теперь, когда ему самому предстояло сесть в лодку и отчалить, он испугался, поразился своей неготовности. Он так привык не умирать, что словно исключил возможность своей смерти вообще; он так долго жил, что эта «долгота» отождествилась с вечностью, с непрекращаемостью.

В разговоре с о. Иоанном, нервничая и хватаясь за голову, Жуковский в сердцах выговорил страшное:

– Я готов похоронить жену и детей, у меня *станет веры* перенести эти несчастья. Но тяжело умирать, зная, что оставляешь сиротами жену и двух детей... /2.306/

Что-то совершенно особенное, непонятое и необъяснимое творилось в сумрачном сознании баденских комнат. Что ответил тогда Жуковскому о. Иоанн на эти слова – не известно,

но вряд ли «прослушал» то, что было скрыто за внешней заботой и страхом за будущее своей семьи, за внешним же, с горечью примешанным самобичеванием – «сам уходишь».

Но вдуматься – станет действительно страшно. Жуковский с готовностью уступает место в лодке жене и детям, у него «станет веры» оттолкнуть их – и проститься с ними с этого берега...

Вряд ли Жуковский говорил так от страха смерти, оттого что поэту хотелось жить во что бы то ни стало (по меньшей мере, подобное объяснение сразу приходит на ум – слишком естественное, слишком человеческое). Признавался же Василий Андреевич накануне: «Жизнь моя разбита вдребезги», – так стоит ли за нее держаться, стоит ли беречь и лелеять то, что давно уже утратило какую бы то ни было ценность, даже если это цена человеческой жизни? Будущее тоже не представлялось радужным – те же осколки, которые уже не склеить. Не было ни идей, ни планов, требующих деятельного воплощения. Мир вокруг Жуковского постарел, одряхлел, замер.

Вот и выходит, что вера Жуковского – вера особого рода, совсем не увиденная за его обыкновенной «душевностью и сердечностью», за его «идеальной человечностью».

О последнем как раз говорил академик Грот на заседании Академии наук в честь столетия со дня рождения поэта: «В современную жизнь нашу неожиданно является духовно ясный и спокойный образ *идеального поэта*». Может быть, все это лишь иллюзия идеальности, да и говорить о другом в торжественной речи как-то не пристало? В конце концов, так ли «духовно ясен» Жуковский – может быть, просто: академичен?..

В свое время меня, признаюсь, поначалу чрезвычайно поразила «злая работа» Ю. Айхенвальда о Жуковском (в «Силуэтах...») – «Около Жуковского вообще *замирает* каждое сильное чувство... он как будто не занимает места в жизни... *бесплотный дух*, который никому не помешает... силе слов его мешает *бледность* его души... Многие его произведения говорят о *дремоте духа*... Ему люди важны не столько сами по себе, сколько как живые *поводы для чувств*...» /4.524—525/

Айхенвальд, как злой литературоведческий демон, смутил, словно сорвал флер «неотразимой симпатичности писательского и личного облика» Жуковского; сорвал – и ничего не оставил взамен. Нет, оставил – ощущение того, что Жуковский, который нам так печально-понятен, вдруг – как песок сквозь пальцы...

«Станет веры» – какой веры?..

* * *

Но тогда, в начале апреля 1852 года, Жуковский, наконец «смирившись с мыслью о смерти», говорил о. Иоанну о главном в своих незавершенных работах:

– «Агасвер» – это моя лебединая песнь. В ней я описал последние годы моей жизни. /2.306/

Иоанн Базаров ничего не ответил. Вообще имя Вечного Жида, выплывшее из средневековой христианской мифологии, не слишком уживается с православным сознанием; оно для нас не апокрифично, не впитывается, не прорастает. А что до того, почему оно выросло в Жуковском, обретая и плоть и слово, – достаточно много всевозможных разнообразных причин, утомительное перечисление которых мне приводить совсем не хочется.

Скажу лишь о том, что Борис Зайцев назвал «Агасфера» «*формой бытия* самого Жуковского»; назвал – и оставил...

О своем Агасфере, Вечном Жиде, Жуковский думал до последней минуты; он – любимое дитя, может быть, гораздо больше живых детей Жуковского; он – неизменный постоялец, который и не собирается никуда съезжать, а выставить его за дверь – дело сродни злодейству; он – тот бледный огонь, который жжет, но не сжигает, звук, который свербит в голове и не дает

покая. Если это так, если это действительно форма бытия, то загадка Агасфера – это загадка Жуковского.

Я же загадки разгадывать не умею и вряд ли хочу научиться...

Между тем, сама легенда такова.

Когда Христа вели на Голгофу под бременем креста, Он остановился для краткого отдыха у дверей в дом Агасфера. Хозяин же оттолкнул Его и велел идти дальше. Христос посмотрел в глаза Агасферу и сказал: «Ты не умрешь, пока Я не приду».

За свое преступление Агасфер был наказан бессмертием, обречен был на скитания и мучения совести, дожидаясь второго пришествия Христа, Который должен был снять с него зарок.

На этом бесконечном пути Агасфер обязан был искупить свой грех. Сам свет бессмертия становится тьмой его наказания, а печать проклятия – светом милости Избравшего его.

Агасфер не может быть понят – разве лишь истолкован; он не может быть вычерчен – разве лишь смутно очерчен. Поиск души Агасфера – те же сумерки, в которых и он сам.

Выбор Жуковского пал именно на Агасфера.

Из брошенных нами причин, объяснений, очеркнем несколько строк – так, поэт пишет в одном из писем: «Тяжелый крест лежит на старых плечах моих, но всякий крест есть благо... Того, что называется земным счастьем, у меня нет...»

Что же тогда есть?

Было бы просто объяснить появление Агасфера в жизни Жуковского только романтически (как это, собственно, делалось и делается) – что ни говори, сама легенда дает простор для романтического мышления, и это бросается в глаза сразу же. История Агасфера дает возможность «исповедоваться страннику», выговориться – бесконечная неприкаянность Жуковского, подорожье его жизни, с его поздним счастьем, особенно близка по духу средневековому герою. Казалось, бесприютная душа Жуковского нашла свое поэтическое пристанище.

Но она также нашла и Одиссея, которого Жуковский перекрестил для России, – нашла «персонификацию дороги». Усталому путнику можно было бы остановиться, ограничиться античной чистотой, ясностью и размеренностью и не искать себе в попутчики еще одного, но уже смутного, ночного странника.

И вот здесь, вдруг самым очевидным образом стало понятно – суть не в дороге, не в романтическом странствовании, не во внешней похожести утекавшей жизни. Не это интуитивно выбрал Жуковский, даже если мы видим его Агасфера именно странником, почти смирившимся со своим положением. Не дорогу...

Единственная мечта Агасфера, его первая и последняя надежда – что придет когда-нибудь Тот, «Кто изобрел его мученья», и простит его. Это ожидание Света, светлого искупления и покаяния. Легенда об Агасфере – песнь покаянная, и никакой иной она быть не может. И если это так, то неизбежно должен быть и «состав преступления»: у Агасфера свой, у Жуковского свой.

Вот об этом – о главном – и забываем всегда, не берем в расчет, читая последнее произведение Жуковского: Агасфер – это преступник, «враг Христа», грешник, Оттолкнувший. Это – несмываемо, это – печать.

«Лебединая песнь» Жуковского о Вечном Жиде суть песнь преступника, равно как и песнь странника...

* * *

О чем думал Жуковский, когда сидел в своей темной комнате – один? когда

*увидел
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце...*

Искал ли Жуковский оправдания для своего Агасфера? – неизбежно. Человеку необходимо оправдание, неизменно идущее из глубины. Оно как бы делает не столь мучительной мысль о том, что ты – лишь заложник обстоятельств, что случай, этот демон мгновения, азартно играет тобой – и ты видишь в нем исток всего, что случилось и что случится.

Жажда оправдания сделала Вечного Жида Жуковского совсем не таким, каким он видится привычно, – Оттолкнувшим Поневоле. Это была злая шутка судьбы – выйти из дома как раз в тот момент, когда «преступник Христос» остановился у твоих ворот. Слишком несоизмеримо наказание, слишком случай нелеп...

Когда в нем родился Агасфер? – Жуковский мучительно вспоминал это. Его темный храм ждал поминальных свечей – и теперь поэт зажигал их, отчетливо сознавая, что жизнь вдруг обернулась театром теней, и самого Жуковского в ней как будто уже и нет.

Вообще, это странное ощущение – того, что Жуковского будто бы нет. Есть те, кто был рядом с ним, кого случай сводил с ним; есть те, кого он любил и кто его любил; есть те, за которых приходилось хлопотать и все равно приходилось хоронить. Потому и кажется, что биография Жуковского похожа на сплошную портретную галерею, такую, как, скажем, в Эрмитаже зал героев 1812 года. И поэт вынужден благоговейно ходить пред портретами тех, кого уже нет, кто уже далеко.

Благоговение рождает тишину, молчание. «Племя молодое, полное кипеньем» теперь лишь пугает его, смущает своей резвостью «сумрачного пустынника», который смотрит на мир грустными глазами. Время уходить. Время улетать царскосельскому лебедю...

Вяземский, получив «Лебедя» (последнее стихотворение Жуковского), писал ему в Баден: «Ах ты, мой старый лебедь, прашур лебединый, да когда же твой голос состареется? Он все свеж и звучен, как и прежде. Не грешно ли тебе дразнить меня своими песнями, меня, старую кукушку... Стихи твои прелесть. „Лебедь“ твой чудно хорош...»

Ныне в Летнем Саду на пруду плавают два лебедя с подрезанными крыльями – как музейные экспонаты (во всем подстать Петербургу), для красоты, для идиллии. Они только и прекрасны тем, что улететь не могут, что обречены до скончания дней трепать клювом свои пожелтевшие перья.

Что может быть хуже и тоскливее «лебединого прашура»?

И что ему остается? – разве помянуть спутников давнишних, всех тех, из кого ты был соткан...

ДОМАШНИЕ. романтика рождения. Детский рисунок. Смерть матери. Юшковы: Дуняша и Аня

* * *

Первый и главный парадокс жизни Жуковского, по его собственному же признанию, – в ее «необыкновенной обыкновенности». Странно, что исследователь оказался не насторожен подобным откровением, хотя и прочел это как обычную жизнь необычного человека, и, может быть, даже усомнился – так ли уж обычна, так ли уж обыкновенна? Не может поэт довольствоваться обычностью своей биографии – это уже устоявшееся суждение, требующее определенного житнетворчества.

Не нужно обижать поэта – и, как доказательство нетривиальности его судьбы, появляется то самое богатство внешних биографических фактов, призванное засвидетельствовать кипение его жизни. Но... факты были – кипения не было.

Это немного похоже на разбойничью пещеру, куда случайно попал Али-баба – нагромождение драгоценностей, золота и серебра, всей богатой утвари, покрытой паутиной, лишь подчеркивает тишину и безмолвие, роковой ужас самого места. В Жуковском за внешним биографическим богатством его слишком долгой и загроможденной людьми жизни вдруг возникает извечная покойность Обломовки: «Ни тревог, ни потрясений в том краю»; все в полусумраке и дреме. Даже личная боль не способна все перевернуть вверх дном – она лишь притупляется, хоронится на глубине души – и эти захоронения называют «силой воли».

В продолжение парадокса скажем: странно, что в жизни поэта-романтика ничего собственно романтического не было. Герои Жуковского – как бы ему противоположность; они достраивают то, чего лишен их автор, они совершают то, что автор совершить не в силах. Единственное, что, может быть, и соответствовало действительности – так это романтическая меланхолия, уединенность – в беседке, увитой плющом, в парке на берегу реки; она, конечно, романтична, но разве способна принять Громобоя или Лесного царя, если бы они вдруг ожили?

Среди уединенной, размеренно-спокойной прозы жизни для души романтической все-таки есть одно счастливое исключение – история его, Жуковского, рождения.

Но и в этом судьба, наградив его столь занятными обстоятельствами появления на свет, все же сыграла с ним свою шутку – ничего случайнее и романтичнее, но вместе с тем обыкновеннее, обыденней, объяснимее, придумать было нельзя...

И. А. Бунин, через сто лет после Жуковского, с гордостью записывал в своей автобиографии то, что в его роду был прекрасный русский поэт. И все же, по большому счету, гордился именно *случаем*, принесшего Жуковского именно в старое дворянское бунинское гнездо.

Афанасию Ивановичу Бунину, Мишенскому помещику (село Мишенское неподалеку от городка Белева, затерявшегося между Калугой и Орлом), обыкновенному незлобивому провинциальному любителю женских подолов, друг его, некий бравый офицер, участник турецкой кампании, сделал занятный «подарок» – двух пленниц, двух сестер, турчанок из гарема паши, Фатьму и Сальху.

Первая, младшая, скоро умерла – не перенесла тяготы чужбины; а к последней, Сальхе, новокрещенной Елизавете Дементьевне, и стал хаживать наш Афанасий Иванович, а вскоре и вообще перебрался от семьи к ней во флигель...

Вся «романтическая» история с плененной турчанкой настолько известна, что пересказывать ее вроде бы и смысла нет. Как, по сути, нет и самой романтики в происшедшем – турецкая кровь текла не в одном Жуковском (в братьях Аксаковых, например); так что говорить об исключительности события не приходится.

«Плодами же греха и обиды», чем, собственно, и был наш герой, тем более в России никого не удивишь – любой дьяк все «несуразности и двусмысленности» исправит за четвертной.

Суть в другом.

Весной 1783 года Сальха взяла младенца, «принесла его прямо в господский дом и положила на пол у ног Марьи Григорьевны Буниной, не сказала ни слова и лишь выражала своим видом *беспредельную покорность*» /1.10/.

Говорят, что этим она хотела примириться с хозяйкой Мишенского, да и выбирать ей было особенно не из чего – вот и отдала, отказалась. Нам же остается лишь печально вздохнуть и спросить: может быть, еще «что-нибудь» родилось в те дни вместе с Жуковским?

Марья Григорьевна пообещала его воспитать как родного...

Афанасий Иванович «усыновлять» младенца не стал (два поэта Бунина для русской литературы – перебор). Сговорился со своим другом, «полуприживальщиком», обедневшим помещиком Андреем Григорьевичем Жуковским, который, крестив новорожденного, записал его на свое имя.

След Андрея Григорьевича, «отца», теряется еще в детстве поэта.

Да и само детство затерялось в счастливо-провинциальной дворянской усадьбе. Васенька, Базиль, был окружен любовью, жил среди женской ласки и балования, «рос барчонком»; вокруг мамки, няньки... Его пестовали, ему ни в чем не отказывали; природа, травы, орловское раздолье его лелеяли. Впрочем, даже в историческом времени, до божедомских достоевских, казенных мальчиков куприных, купоросных горьких и нищих надсонов было еще очень далеко. Пока детство русской литературы было идилличным – и Жуковский не был исключением из среднепоместного счастья.

Но ущемленность свою все равно чувствовал.

В дневнике 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы *что-нибудь значил*, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но *не видал родных*, мне принадлежащих по праву; я привык *отделять себя от всех*... Я не был оставлен, брошен, имел угол, но *не был любим никем*».

Борис Зайцев называет эту запись преувеличением /3.33/, соглашусь и я: приговор-то для домашних слишком неутешителен и жесток.

Только ведь дыма без огня не бывает, и такая «черная сыновья неблагодарность» рано или поздно обеливается – уже хотя бы так странно сложившимися обстоятельствами младенчества и детства: родители живы, а он словно *вне* их. Афанасий Иванович, правда, рано уйдет из жизни Жуковского – оставит по себе ощущение красоты службы и трепетную умиротворенность сельских кладбищ, но две матери – рядом, сводные сестры и племянницы – здесь же. Все – его и словно не его.

Это ощущение, неосознанное, лишь мучительно переживаемое, будет частым гостем в его душе – с раннего детства и до поздней старости; оно станет неотвратимой формулой всей его жизни —

он был среди всех и со всеми – и ни с кем не был...

* * *

Удивительно, но он даже не воспринимал свое положение мистически – так, по меньшей мере, происходит почти всегда с теми, кто «рожден необычно». Не воспринимал и в призме страстей, как это было у Лермонтова. Незаконнорожденность, а при ней и примирительное соглашение подле ног барыни, рождало в нем тихую отстраненность, отдаленность, ощущение неприкаянности. В этом, несомненно, была своя печаль, но трагизма не было – а потому пере-

водить свое состояние в плоскость мистическую, волнующую и дику, разумно не объяснимую, у Жуковского не было никаких резонансов.

Да и привычки подобной он никогда не имел. И тоже – с детства, с одной «детской историей», уже давно ставшей классической.

«Васенька нарисовал на полу изображение Христа; горничная Меланья, увидев его, бросилась на колени и начала бить земные поклоны. Сбежалась дворня, пришли барыни, и потрясенная Меланья начала рассказ, как комната озарилась светом, откуда-то полилась неземная музыка, сами собой растворились двери и на полу проступило божественное изображение.

Васенька испортил все дело. Он сказал: «Нет! Это я нарисовал» /2.9/.

Он прекрасно рисовал – и в детстве, и по жизни; и биограф обычно с гордостью приводит эту историю в подтверждение дара художника у Жуковского. У меня же она вызывает печаль – Васенька действительно *испортил* все дело.

Если бы Жуковскому даровать «глаза Меланьи», то, возможно, он увидел бы тень своего Агасфера гораздо раньше и, быть может, сделал бы его волей провидения чем-то вроде Фауста для Гете. Но о лилово-зеленых мирах он ничего не знал – удивительно был *не* мистичен. Его мир не раскалывался надвое, как это было у Гофмана, не впадал в сумасшествие, как случилось это с Гельдерлином и Батюшковым, не бракосочетал рай и ад, как это делал нищий художник Блейк, забытый на целое столетие. Можно назвать Жуковского «книжным романтиком» – таким его, переводчика, перелagateля, собственно и видели (пожалуй, лишь Меланья могла бы увидеть его «чернокнижником» – к всеобщей потехе).

Была в Жуковском, пользуясь термином У. Джемса, какая-то «религия душевного здоровья», исполненная здравого прагматизма (врачевание же как-никак), не позволяющая ему видеть зло мира, вчувствоваться в происходящее глубже внешнего счастья или несчастья.

Может быть, мы и не правы, позабыв про «мягкость и чувствительность» Жуковского, – здесь ли говорить о «толстокожести»? И все же не дает покоя в сердцах произнесенное: «Нет, это я нарисовал!» – и весь богатейший опыт мистического религиозного переживания (столь ярко явленный горничной) уступает место обыкновенно-обыденному объяснению.

В этом смысле – мистики, религиозной мистики, откровения и предчувствия – Жуковский был близорук...

* * *

Впрочем, еще о домашних.

В 1811 году умерла Марья Григорьевна Бунина, барыня, «бабушка», как называл ее Жуковский. А через десять дней, следом за ней – Сальха – Елизавета Дементьевна, настолько прикипевшая к своей хозяйке, что не смогла ее пережить, жить без нее, жить вне ее. Жуковский хотел одно время забрать ее с собой – ничего не вышло.

«Он почувствовал себя сиротой» – иначе и быть не могло; да и по-человечески понятно и объяснимо. Но в дневнике Жуковский все же обронит, непонятно, странно: «любил *далекой любовью*». Эти слова стали удивительной находкой – его отстраненность от другого человека теперь получала благородное обозначение, поэтическое звучание, еще безнадежнее скрывая то, чего он и так не видел.

Именно с этой «далекой любовью» – к кому бы то ни было и когда бы то ни было – Жуковский и был теперь обручен. Расстояние, дистанция становились мучительным счастьем его жизни. Однако, является ли это преступлением?..

* * *

Пушкин называл дружбу «любовью без крыльев». В жизни Жуковского дружба – «бескрылая любовь» – была возведена в абсолют, обожествлена, единственна; она была его гербом, была его гимном. Правда, теперь, в 1852 году, гимн звучал все тише и тише, да и торжественность его все больше напоминала обряд прощальный – поминальную службу. Жуковский

жалел, что здесь, в Бадене, нет рядом его верных друзей – единственных, которые еще остались на этом берегу – Вяземского и Авдотьи Петровны Елагиной; они приедут его уже хоронить...

Из домашних – Авдотья Петровна – Дуняша – человек, которого Жуковский по сути «проглядел», не понял, не почувствовал «глубже дружбы». Может быть, это и к лучшему – пусть случилось только то, что случилось.

Дуня – одна из дочерей крестной Жуковского Варвары Афанасьевны Буниной (Юшковой); родня, домашний круг.

Юшковы, «хранители его детства», жили в Туле, куда перебрались и Бунины, когда Базиль подрос и его необходимо было где-то пристраивать учиться. Так в жизни Жуковского появилось и тульское народное училище, откуда его в конце концов исключили «за неспособность», и желание быть драматургом – он даже написал в двух страницах историю Фурия Камилла, освободителя Рима, сам же его и сыграл – в склеенном шлеме и с выстроганным мечом.

И еще – в него незаметно влюбилась Дуняша; слушала, ходила за ним как тень, искала глазами, смеялась вместе, грустила поврозь... В общем, случай достаточно сентиментальный, даже умилительный, как и все, что связано с детьми; да и кого из нас умиротворенные родители не крестили женихом и невестой и не сговаривались на потом? Знали, что детская любовь быстро тает и ровным счетом ни к чему не обязывает, оставляя лишь благодарную улыбку. Словом, ничего серьезного.

Для Жуковского...

Авдотья Петровна же восприняла иначе. Поначалу постаралась забыть, к тому же обстоятельства – год за годом к десятилетию – складывались для этого удачно. Базиль жил своей жизнью – то в Москве, то в белевском уединении, ходил на войну, редактировал «Вестник Европы», писал стихи, переводил... Она вышла замуж за В. Киреевского, родила ему прекрасных сыновей – так, Иван Киреевский станет у истоков русской философии. Вот только овдовела рано.

И вдруг почувствовала – осенью 1814 года – что любовь некогда маленькой девочки к «Юпитеру ее сердца» Жуковскому не прошла.

Воскрешение «детской истории» – далеко не инфантилизм, хотя, может быть, некоторые чувства и схожи; трагичность этой любви как раз в том, что она «родом из детства», и образ детства безнадежно будет владеть ею. Вот и выходит, что истоки чувств гораздо глубже, чем «сейчас», а маски, за которыми эта любовь скрывается, изощреннее, опаснее.

Хотя...

Осень 1914 года, проведенная в имении Киреевской Долбино, оказалась для Жуковского волшебной: его тогда захлестнула поэзия – он написал «Варвика», «Эолову арфу», «Вадима», множество посланий, переводов; даже испугался своей плодовитости – накручивал себе на мозги всевозможные ужасы, тяжкие предчувствия – «выпишется весь...» – чем мучил и себя, и Авдотью Петровну.

Та же вся преображалась, едва стоило ей увидеть милого Базиля: глаза блестели от радости, искрились; она не могла скрыть волнения. Изменился и тон ее писем к Жуковскому – нежны не по-домашнему, «не по-родственному».

«Но он ни о чем не догадывался»...

Причину этой непроницательности все биографы называют одну и ту же: он думал о другой, любил другую, ежедневно, ежеминутно жил другой – Машей Протасовой. Это действительно все объясняет: влюбленный человек на других не смотрит. Объясняет уже хотя бы потому, что это – один из значительных стереотипов поведения, укоренившийся в нашем быто-

вом сознании настолько, что стал восприниматься как аксиома: влюбленный – ослеплен, видеть кого-нибудь еще – значит, любить не по-настоящему. Возражать здесь сложно, но...

Жуковский у Авдотьи Петровны бывал часто – она не бесплотный дух, она – на виду, ее поведение все же ее выдавало – видели многие, один Жуковский не видел.

Было бы неверно списать все на безрассудство любви Жуковского – у нас не раз еще будет возможность убедиться в том, что Жуковский никогда безрассудным не был, не знал ни мятельности любви, ни ее сумасбродства. Его зрение было ровным, может быть, даже слишком.

И еще: его глаза никогда не смотрели из-под маски – так, по меньшей мере, говорят все мемуаристы, буквально отождествляя поэта с искренностью и честностью. Поэтому и пришлось отказаться от авантюрного вопроса: «не замечал или не хотел замечать?» – последняя «двойная игра» у него попросту бы не вышла...

Он до конца дней (смерть Маши Протасовой в марте 1823 года – лишь середина его пути) действительно будет уверен в том, что Авдотью Петровну связывает с ним только дружба и ничего, кроме нее (родство – не в счет). Даже если бы она призналась ему в любви – ведь хотела же! – он, скорее всего, просто не поверил бы. Дуняша – молчала. Жуковский – не замечал, не видел, не «придавал значения». Он изливал ей душу – и волшебной осенью 1814, и позднее в письмах и при встречах, – совершенно не догадываясь, что ранит ее.

Авдотья Петровна выйдет замуж во второй раз – за Елагина...

* * *

Аня Юшкова, в отличие от своей сестры, не стала продолжать «линию родственной влюбленности» в Жуковского (хотя – сердцу не прикажешь). Она была первой его «подругой» – «одноколыбельницей» – няньки вместе катали их по саду... Этим и окрашена их дружба – по-семейному.

Анна Петровна была постоянным адресатом Жуковского, причем, достаточно сдержанным, рассудительным, может быть, даже холодноватым, что мало свойственно женскому уму; сама писала – под мужниной фамилией: Зонтаг. А занятие литературой, как известно, вернее всего отстраняет человека от человека в силу своей индивидуальности, сублимированности и еще множества причин, преломляющих то, что происходит, в то, что будет написано.

Думается, Анна Петровна как нельзя лучше понимала одну важную вещь: Жуковского следует *держаться на расстоянии* – ради самого же Жуковского...

ПРОТАСОВЫ. Екатерина Афанасьевна. Маша. Мойер. Трое

* * *

*Вижу райскую обитель...
В ней трех ангелов с небес... —*

пел Жуковский под сопровождение своего друга, помещика по-соседству, «негра», как его в шутку называли, Плещеева. У его супружницы – день рождения, гости, шумно, весело. «Три ангела», само собой, присутствуют здесь же – им и посвящен «Пловец», для них и поет Базиль.

Три ангела – Екатерина Афанасьевна Протасова и две ее дочери: Маша и Саша.

«Ангелы» Жуковскому не посторонние – родня, бунинская кровь...

Екатерина Афанасьевна – младшая дочь Бунина, а потому поэт приходится ей «сводным братом»; значит, и чувства должен был испытывать именно братские, а не какие-либо еще. Так поначалу и было...

Ее судьба несколько необычна для того времени – в силу своей независимости, эмансипированности, как мы сказали бы сегодня. После смерти мужа, безнадежно промотавшего свое состояние, Екатерина Афанасьевна вернулась из Сибири с кучей векселей; от долгов же отказываться не стала – правда, пришлось в срочном порядке распродавать имения. Осталось лишь небольшое – Муратово, да и то без господского дома. В Мишенское – колыбель – не вернулась: лучше устроиться где-нибудь скромно, но самостоятельно, «обязываться не хотела».

Протасовы поселились в Белеве.

В Белеве Жуковский решил устроить свой угол – занялся строительством дома – с видом на Оку. Это была его поэтическая «храмина» – говорят, что и проект дома он сам сочинил... Теперь в кабинете с высокой конторкой – Жуковский любил писать стоя – не доставало «мелочи»: вдохновения, чувства, повода...

«В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства у Екатерины Афанасьевны скромны. Тогда-то и нашелся учитель – свой же, близкий, бескорыстный, бесплатный, но уже с некоторым именем – Жуковский» (поэтическое имя возникло совсем недавно: благодаря переводу элегии Т. Грея «Сельское кладбище», опубликованному Карамзиным) /3.41/.

Маша и Саша ему – «полуплемянницы», – так сам в шутку называл...

Уроки оказались замечательными – учились все трое: друг у друга (мог ли тогда Жуковский предполагать, что его «педагогический опыт», произросший в захолустном Белеве, дорастет до «воспитания царя»!). Девочки восхищенно любили своего Базиля, переписывали его стихи; философия, литература, эстетика – все чистыми глазами Жуковского; воспитание дружбы и нравственности – в его идеале; книги – Шиллер, Гете, Шекспир, Бюргер, Гораций...

Белевскую идиллию нарушит запись в дневнике Жуковского:

«Что со мною происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то *неизвестное чувство*, какое-то *неясное желание*! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала!»

Она – Маша Протасова – его старшая ученица.

* * *

Были два обстоятельства считать эту любовь обреченной – Маше всего 15 лет и она Жуковскому родня. Екатерина Афанасьевна законы родства соблюдала строго и давать «раз-

решения на грех», благословлять инцест не собиралась (хотя в России браки между родственниками место имели и особого скандала не вызывали). Резонно решила: любовь о жернова закона перемелется – мука будет; ходить на поводу любви в начале XIX века было не принято.

Между тем, чувства учителя и ученицы оказались взаимными; и так же взаимно они ничего не сделали для своего счастья – ждали и надеялись...

Впрочем, биограф, скорее всего, ждет авантюрного сюжета, непременно с погонями, дуэлями, убийствами или самоубийствами, с необузданными страстями и скандалами – поэт должен быть непредсказуем, и вот эта биографическая непредсказуемость служит как бы залогом его гениальности. Мы ждем определенной love story – и простая история любви, которая, может быть, тем и прекрасна, что обыкновенна и чиста, нас уже не прельщает.

Ждем хотя бы печати романтики – ведь отважилась же пушкинская Марья Гавриловна, вопитанная на французских романах, сбежать из дома и тайно обвенчаться! Может быть, и наши герои могли бы предвосхитить знаменитый сюжет?

Маша Протасова, в отличие от пушкинской героини, была воспитана на Жуковском – авантюрного сюжета Любовной истории *быть не могло*. Слишком чужда авантюра духу и тону жизни Жуковского. Ему ближе «тихая любовь», «грустная любовь» («унылая ли любовь»?) Какая-то печать стоицизма на ней. Быть может, если трактовать в современном ключе, есть нечто мазохическое в этом «ожидании разрешения на любовь», ничего иного не предвещавшего, как полностью смириться с судьбой, покориться судьбе не меньше, чем когда-то Сальха...

«Нежное и печальное чувство», – и биограф, пусть и не дождавшийся взрыва страстей, все равно благоговейно застывает перед ним; «любовь на всю жизнь» – это прекрасно; но «меланхолия любви» – это все же жестоко...

Невозможность авантюры – с обеих сторон – ставит под сомнение одно из общепринятых «условий» любви, о котором все время мечтают, но меньше всего допускают, – ее *безрассудство*. Потому-то мы и заговорили о «требованиях» зрителей к биографии поэта – и подчас безрассудство любви становится ценнее самой поэзии. Но что делать обычному человеку, каким, к примеру, был А. Н. Островский? Обычному человеку, пусть и пишущему?

Лишенным безрассудства неизбежно уготована тургеневская «разреженность», томительная бездеятельность, красота чувства при полном отсутствии его движения, его событийного выражения. И это еще совсем не плохо, если вспомнить чеховскую безысходность, убивающую тривиальность его любовных историй.

Ровно-печальным светом окрашена любовь Жуковского и Маши. Может быть, слишком покойна, даже попустительна...

Б. Зайцев этот настрой Жуковского отмечает, но до конца не договаривает. Очеркнуть же пришлось многое.

«*Мучеником пола* он никогда *не был* – в этом его чистота, счастье и некоторый *ангелический* характер природы. Это же и лишало той силы, которая дается стихией... Юность его такова, будто он *подготавливался к монашеству*... Много и серьезно думал о любви. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснодушием и нежностью, *желаемую жизнь*: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного *друга* или верную *жену*. «Спокойная, *невинная* жизнь», умеренная (усмиренная?).

Такова, кстати, и Маша – «нечто лилейное», «тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего – бедным, больным, убогим...» /3.41/.

Вот эта тишина и оказалась оглушительной...

В тихой любви нет не только безрассудства, но и того, что мы обычно называем страстью; не оказалось, соответственно, и сладострастия – в его «грешном варианте», в психоаналитическом ключе.

Эта любовь воспитана, возвращена духовно; она и явлена-то была как *высшее благо и высшая служба*; потому-то все, что имеет внешнюю «практическую ценность» для обывателя, здесь обесценено совершенно. Эта любовь имеет особую степень сублимации – она мыслилась как неизбежная реальность, но виделась как художественное произведение, трагедия, текст (поэтому вся история любви Жуковского и Маши Протасовой «уйдет» в дневники и письма). И здесь, в трагедии, по законам жанра, кто-то должен быть возвеличен, кто-то наказан – и не всегда согласно сюжету.

Вся «человеческая» беда в том, что эта любовь, завязанная и сплетенная где-то свыше, в обыденной «полуприродной» жизни меньше всего бывает движением к счастью. Тот же Вл. Соловьев говорил, что сильная любовь обыкновенно бывает несчастной (бездетной и нераздельной) и неизвестно, благом или наказанием она на самом деле является. Можно сказать также, что тихая любовь подобна яду – есть в ней какое-то самопоедание, морение себя. Потому и кажется, что тихая любовь способна совершать большие разрушения; это не та сильная, мятущаяся, безудержная любовь, что зажигает звезды и двигает светила – она чаще всего образует черные дыры.

С определенной степенью «философской некорректности» можно привести в пример чувство Лермонтова к Варе Лопухиной еще до ее замужества – своей «тихой любовью» Лермонтов добился только того, что уступил ее Бахметеву и сделал несчастными всех троих. Эта любовь, кстати, вошла и в лермонтовские тексты – как неизбежное выражение того, что не воплотилось в реальности.

Суть истории Жуковского будет та же. А потому, как бы предвосхищая исход, итог, можно почти с полным правом сказать: благодаря Жуковскому жизнь Маши Протасовой *не сложилась*.

Обыкновенно в трагичной любви Жуковского и Маши биографы винят Екатерину Афанасьевну, не сумевшую поступить своими родственными принципами. Она была слепа, она стояла на пути, она оказалась непреклонна. Напрасно Жуковский просил у родственников повлиять на нее: Авдотья Петровна как-то написала ей письмо в защиту Базиля – и получила в ответ жестокую отповедь.

Было и первое «решительное объяснение» Жуковского с Протасовой – но что оно из себя представляло, никто не знает; даже дату объяснения вынуждены ставить произвольно – возможно, в 1810 году. После него Жуковский отправит и письмо, где искренне расскажет о своих чувствах и попросит не мешать его счастью с Машей. Екатерине Афанасьевне ничего не оставалось делать, как ответить *так*, чтобы у молодого человека подобные письма «охота писать пропала»...

Жуковский помнил, как им с Машей пришлось сделать вид, что любовь прошла; тайно же обменивались маленькими дневниками в четверть тетрадки и записками. «Конспирация» лишь сильнее связала их, но сил для решительного действия все же не дала.

«Между нами расстояние» – так чаще всего говорят герои Тургенева, оправдывая «бездельность» своего сильного чувства, канонизируя трагизм ситуации.

«Между нами Екатерина Афанасьевна» – это было настолько трагично-очевидно для Жуковского и Маши, что «обойти» ее они не могли. Скорее всего, были свято уверены в старой мудрости: плетью обуха не перешибешь...

У Федора Тютчева есть знаменитые строки:

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей.

В глазах биографа, Екатерина Афанасьевна – тому доказательство. Это ее боль. Режиссер, несомненно, задаст «нужный тон» – чтобы понять, что же все-таки произошло, ей при-

дется стать свидетельницей несчастных и переломанных судеб своих дочерей и – как финальную точку – смерть их.

Вот, «сама виновата!» – воскликнет в сердцах и биограф. – «Распни ее, судия!»
Полноте, того ли казним?..

* * *

Между тем, Сашенька Протасова – наперед старшей сестры – вышла замуж: за Александра Воейкова (о них еще предстоит рассказать – их еще предстоит помянуть). Вместе с ними в 1815 году Екатерина Афанасьевна и Маша отправились в Дерпт, где Воейкову удалось получить кафедру.

Именно в Дерпте, в этом маленьком университетском городке, пробудится ото сна Агасфер и поведет Жуковского за собою.

Василий Андреевич был в Дерпте из Петербурга наездами, всякий раз неудачно. Встречали его достаточно холодно – не Маша, конечно. Екатерина Афанасьевна вскоре заговорила, что он Машу компрометирует и так дальше продолжаться не может.

Впрочем, Екатерина Афанасьевна нашла «здоровое решение проблемы» – стала подбирать Маше женихов...

Так в жизни Протасовых появился доктор Иван Филиппович Мойер.

Он был прекрасным хирургом, профессором, хорошим музыкантом и просто порядочным человеком. В Дерпте Мойера любили, его положение (не столько материальное, сколько общественное) было прочным; к тому же он умел располагать к себе других, но никогда не злоупотреблял этим. Казалось, что он без недостатков. Разве что близорук...

Маша в те дни писала о нем Авдотье Петровне Киреевской: «Милый, добрый, благородный Мойер... Он положил себе за правило не думать о себе там, где дело идет о пользе ближнего и жертвовать всем другому. И это не слова, а дело...»

Екатерина Афанасьевна вторила дочери: «Благородство души его, право, описать нельзя, доверенность и привязанность к Маше – необыкновенные».

Скажем сразу: и та, и другая говорили о Мойере в подобном ключе далеко не от праздного знакомства.

Иван Филиппович попал к Протасовым на волне «оборотничества» Александра Воейкова (мы забегаем вперед, но что поделаешь, если жизнь не желает двигаться строго прямолинейно и память неотвратимо путает между собой даты и события) – романтического странника вдруг сменил семейный тиран, отравлявший всем жизнь. Воейков пьянствовал, дебоширил, доводил до истерики Сашу; несколько раз его скандалы вызывали у Маши горловое кровотечение, он же лишь смеялся в лицо и называл это свидетельством блуда вавилонского. Он хозяйствовал – и требовал трепетного и безропотного подчинения; он шпионил – доверяться переписке стало невозможно; он лицемерил – и в этом был непредсказуем. Станным образом перед ним «спасовала» и непреклонная Екатерина Афанасьевна, теперь увидевшая непосредственно, что происходит с ее дочерьми и насколько они страдают.

Не будет преувеличением сказать, что жизнь в доме Воейкова оказалась сущим адом – и нам еще предстоит в него погрузиться; пока же ограничимся лишь внешним – но все равно черным – фоном, на котором появился Мойер и изредка появлялся Жуковский.

Этим, собственно, и оправдывается некоторое отождествление Мойера с Жуковским – и в письмах Маши эти два имени могут легко взаимозаменяться. Мойер *был похож* на Жуковского, это – души родственные (так, по меньшей мере, считает Виктор Афанасьев в своей биографии Жуковского /1.176/, у Бориса Зайцева же иное: «Маша совсем не имела к Мойеру чувства, как к Жуковскому» /3.75/).

Как бы то ни было, прежней любви требовалась замена – замена ли? – и ученица искала отражение, тень своего учителя...

Жуковский все же еще надеялся на личное счастье, просит Машу об отсрочке (эта любовь кажется обреченной именно на отсрочку, на выжидание лучших времен) на год – в известном письме от 25 декабря 1815 года. Потом почти упрекает Машу в том, что она идет замуж не по своей воле – «Ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать», потому, что обстоятельства, в непререкаемость и неизменность которых Жуковский слепо верил, сложились так, а не иначе, что обстановка оказалась слишком ужасна и, почти воочию, безвыходна.

И все же суть остается в другом.

То, чего не смог сделать сам Жуковский, сделал *за него* Мойер.

Маша и Иван Филиппович обвенчались в январе 1817 года...

* * *

Через несколько дней Маша напишет Авдотье Петровне письмо с таким признанием: «Бог дал мне счастье, послав Мойера, но я *не ждала счастья*, а видела одну *возможность перестать страдать*».

А жить можно, как говорил Жуковский, и без счастья...

Это «воспитание чувств» просто поразительно – даже самый суровый аскет считал бы убийственным отказ от счастья, каким бы малым оно не было. Но в том, должно быть, и состояла бессмертная участь Агасфера – жизнь без счастья и бегство от страдания.

Будет и отречение, пусть поневоле, – Жуковский даже узаконит его в своем стихотворном послании к Мойеру:

*Счастливец! ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою!
Возьми ж их от меня...*

«Ею ты любим...» – как будто Жуковский не знал, кто именно ею любим...

Еще накануне свадьбы Жуковский приезжал в Дерпт «все увидеть своими глазами», поговорить с Мойером. Майя Бессараб называет эту встречу удивительной: не породившей неприязни соперников. Основание для такой трактовки – письмо Маши к Киреевской: «Они говорили обо всем вместе, искренно и с чистосердечным желанием найти *мое* счастье. Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастья, как скоро минуту будет думать, что не все *трое* мы найдем его».

В итоге не менее удивительный вывод биографа: «Как ни велики были страдания Жуковского, в сердце его *не было ревности*» /2, 120—121/. Вот этому я и не могу поверить (быть может, есть люди, лишённые этого чувства, но я покамест таких не встречал). Не верится мне и в саму «удивительность» этой встречи – слишком много сентиментальной умиротворенности, слишком много «любовных признаний». И еще: если не было неприязни соперников, если не было никакой ревности, то что же тогда было?

«Душа как будто деревянная, – писал Жуковский Ал. Тургеневу. – Мое теперешнее положение есть *усталость* человека, который долго боролся с сильным противником» (с Мойером, с Екатериной Афанасьевной, с обстоятельствами? – В.Л.)

Вот теперь борьба кончилась...

В «*договоре*» о Машином счастье есть все же что-то неизъяснимо злое. Верный друг Жуковского Александр Тургенев так и не сможет понять, как же решился Жуковский дать Мойеру согласие на брак, уступить ему Машу, отказаться от нее? «Любовь Маши к Мойеру» – какой все же жестокий повод «прекратить отношения» нашел Жуковский, какая неоправданная подмена произошла! Впрочем, не судите да не судимы будете – так гласит библейская мудрость, от которой мы вечно отступаем. Нам ли судить чужую душу и нам ли использовать судьбу человека как повод для рассуждений? И все же...

Как воспринял послание Жуковского Мойер, неизвестно. Но само положение адресата было незавидным: Мойер прекрасно знал (видел, чувствовал), *что* есть Жуковский для Маши, знал, что не будет в ее сердце всецело. Жуковского же, скорее всего, не понимал, хотя и был пленен его благородством и искренностью.

И все-таки «оценка факта» остается грустной: тогда, в Дерпте, при той «удивительной встрече», состоялся не просто разговор о счастье – состоялась *передача* Маши от Жуковского к Мойеру.

Закон о родстве был соблюден, точно так же, как Агасфером был выполнен закон о крестном пути: крест родства отвечивал бессмертным агасферовским скитанием. Жуковский этого пока не видит, не осознает. Он вообще «как бы умер», а прежние стихи его кажутся ему «гробовыми памятниками». Впрочем, каждый несет то, что он несет...

П. А. Вяземский как-то писал о Жуковском-поэте: «Сохрани боже ему быть счастливым: с счастьем лопнет прекраснейшая струна его лиры...» Поэт должен быть «положительно несчастлив» – не так ли? Он словно предназначен для трагедии, а если нет таковой, то она создается, творится, подобно мифу. И каждый сам выбирает свой мифологический образ несчастного человека. Кстати, и сама мысль Вяземского достаточно мифологична и известна – счастье стихов не пишет. Это даже кажется аксиомой, чем-то не требующим доказательств и сомнений, чем-то массивно-каменным, подобно Колизею, опечатавшему центр Рима. Жуковский этому каменному театру вызов не бросил.

В одном из писем к своей «соколыбельнице» А. П. Зонтаг Жуковский сделает такое признание: «Не хочу и не буду (теперь) *иметь любви*. Но хочу иметь *верную привязанность*, основанную на знании характера, на согласии образа мыслей о счастье».

«Тихая любовь» становится теперь «любовью разумной», бескрылой, основанной исключительно на дружбе с ее уважением, верностью и определенной стабильностью. Кажется, что сам прекрасный культ дружбы, воспетый Жуковским, вдруг становится каким-то злоеющим идолом, которому приносится в жертву все и вся. Впрочем, для Жуковского нет в этом особых опасений и противоречий – все закономерно, все естественно, все так и должно быть. Противоречие в другом – в невозможности в реальном мире той дружбы и той любви, которой он наполнен и которая живет в его балладах.

Самая знаменитая из них – «Светлана» – посвящена *не Маше*...

**ПРОТАСОВЫ. Саша. Воейков.
Психологический этюд. 1829 г.**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.